

Константин Михайлович Станюкович

За Щупленького
(«Морские рассказы»)

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0010
III.....	.0021

**Константин Михайлович
Станюкович
ЗА ЩУПЛЕНЬКОГО**

Среди таинственного полусвета тропической лунной ночи плыл, направляясь к югу, военный корвет «Отважный», слегка покачиваясь и с тихим гулом рассекая своим острым носом точно расплавленное серебро – так ярко светила фосфорическим блеском вода.

На трех мачтах корвета стояли все паруса, какие только можно было поставить, и корвет, подгоняемый ровным мягким пассатом, шел узлов по пяти – шести, легко и свободно поднимаясь с волны на волну.

Ночь была воистину волшебная.

Спокойный в этих благодатных местах вечного пассата, Атлантический океан словно бы дремал и с ласковым рокотом катил свои лениво нагоняющие одна другую волны, залитые серебристым блеском полного месяца. Поднявшись высоко, он томно глядел с бархатного неба, сверкавшего бриллиантами ласково мигающих звезд. После истомы палящего тропического дня от океана веяло нежной прохладой.

Тишина вокруг. Тихо и на палубе корвета.

Вахтенный офицер, весь в белом, с расстегнутым воротом сорочки, лениво шагал по мостику, оглядывая по временам горизонт: нет ли где шквалистой тучки или огонька встречного судна, и изредка вскрикивал:

– На баке! Вперед смотреть!

– Есть! Смотрим! – отвечали два голоса с бака.

И скоро наступала тишина. И снова вахтенный офицер шагал по мостику и вдруг спускался на палубу ловить дремлющих и спящих.

Вахтенное отделение матросов было по своим местам, притулившись у мачт и бортов. Чтобы не поддаваться чарам сна, среди небольших кучек идут разговоры вполголоса: вспоминают про свои места, про Кронштадт, сказывают сказки и обмениваются критическими мнениями, порой весьма ядовитыми, насчет командира, старшего офицера, вахтенных начальников, штурманов, механиков, кончая доктором и бабюшкой.

А соблазнительная дрема так и подкрадывается в неге дивной ночи и в мягком дыха-

нии освежающего ветерка. И дремали бы себе матросы, стой на вахте другой офицер, зная, что в тропиках при пассате почти что и нечего опасаться. А у этого нельзя. Этот злющий. Его так и звали матросы – Злющий. Подкрадется и, чуть увидит задремавшего, изобьет. И с каким-то жестоким удовольствием изобьет, точно в самом деле беда, если матрос на такой благодатной вахте, когда нечего почти делать, вздремнет, готовый очнуться при первом же окрике.

И матросы борются с дремой, взглядывая по временам на мостик, где шагает Злющий, и не без зависти прислушиваясь к храпу вахтенных, которые сладко спят не внизу, как обыкновенно, а на палубе, обдуваемые легким ветерком, на своих тоненьких тюфячках.

– И хо-ро-шо, братцы! Ах, как хорошо! – раздался среди тишины мягкий голос у баковой пушки. – Такой ночи в нашей земле не увидишь... И теплынь... И звезд что понасеяно... И океан ласковый... Гляди – не нагладишься, – восторженно прибавил матрос и вздохнул полной грудью.

– Таких спокойных мест не много. Вот

минуем тропики, войдем в Индийский океан... Там, небось, поймешь флотскую службу, – ответил сиплый басок.

– А страшно в Индийском?

– Еще как страшно-то! А тебе и вовсе нудно придется. Не по твоей комплекции служба флотская. Тебе, по твоему виду, прямо на скрипке играть... А там то и дело «пошел все наверх!» – боцман будет кричать. То поворот делать, то рифы брать, то штурмовые паруса ставить. Только поворачивайся да не считай зуботычин. Ну, а ты, братец, не того фасону. Недаром тебя Щупленьким прозвали. Щупленький и есть!

Тот, которого на корвете все звали Щупленьким, никогда не называя его по фамилии, действительно оправдывал свое прозвище.

Маленький, тоненький, с впалой грудью и бледноватым лицом, с ласковым и несколько испуганным взглядом больших серых глаз, этот первогодок, Семен Лузгин, попавший из деревенских пастухов в матросы, как-то плохо привыкал к морской службе, хотя и из кожи лез вон, чтобы привыкнуть и быть таким

же лихим матросом, как другие. Но в нем не было ни физической силы, ни матросской отчаянности, и никак он ее приобрести не мог.

Фор-марсовый Леонтий Егоркин, здоровенный коренастый человек за сорок, полный этой самой отчаянности, которую он приобрел после изрядной порки в первые годы своего морского обучения, и потерявший от пьянства голос, был до некоторой степени прав, говоря, что Лузгину по его виду на скрипке играть.

И он действительно играл, и играл артистически, но не на скрипке, а на гармонике, и игрой своей доставлял огромное удовольствие всем, и особенно Леонтию Егоркину. Из-за этого, кажется, Леонтий Егоркин благосклонно относился к молодому матросику и жалел Щупленького. Впрочем, его и все жалели. Жалел даже и великий ругатель и «человек с тяжелой рукой», боцман Федосьев, и если и «смазывал» Щупленького, то больше для порядка и без всякой ожесточенности.

– Того и гляди, дух из его вон, ежели по-настоящему съездить! – словно бы оправдываясь, говорил боцман другим унтер-офице-

рам... – И что с его, с Щупленького, взять... Старания много, а какой он матрос! Он настоящего боя не выдержит! – не без презрения прибавлял Федосьев, хвалившийся, что сам в течение своей пятнадцатилетней службы выдержал столько боя, что и не обсказать.

– И опять же пужлив ты, Щупленький! – продолжал Егоркин. – Линьков боишься.

– То-то боюсь! – виновато отвечал матросик.

И восторженность в нем исчезла.

Пробило четыре склянки. Это, значит, было два часа пополуночи.

– Очередные на смену! На смену! – сонным голосом проговорил боцман, выходя с последним ударом колокола на середину бака.

– Есть, – одновременно ответили два голоса.

И из кучки матросов, лясничавших у бакового орудия, вышли Егоркин и Щупленький.

– Хорошенько вперед смотреть! – напутствовал их боцман, принимая вдруг резкий, начальственный тон.

– Ладно! Знаем! Не форси, Федосеич! – лениво ответил Егоркин, несколько удивленный, что боцман говорит о пустяках такому старому матросу.

– Ты-то, старый черт, знаешь, а вон этот... Э, ты, Щупленький!

– Есть! – испуганно отозвался матросик.

– В оба глаза глядеть и вместе вскричать, ежели что увидите.

– Есть! Буду глядеть!

– И не засни, дурья голова... Небось, зна-

ешь, кто на вахте?

– Злющий, Андрей Федосеич!

– Прозеваешь вскрикнуть, велит тебя отшлифовать. И что тогда от тебя останется?

– Не могу знать! – вздрагивая всем телом, пробормотал Щупленький.

– Шкелет один... вот что.

– Да не нуди ты человека, Федосеич! – заметил Егоркин. – И то часовые смены ждут.

– Не нуди вас, дьявол! Так помни, Щупленький...

Они пошли на нос, и когда часовые вылезли из углублений у бугшприта, новые часовые сели на их места.

– Эка язык у боцмана! – с досадой проворчал Егоркин и стал смотреть вперед, на блестящую полосу океана.

Смотрел и Щупленький и замер от восторга – так красива была эта серебристая морская даль.

Очарованный и прелестью ночи, и сверкавшим мириадами звезд небосклоном, и красавицей луной, и таинственным тихо рокочущим океаном, молодой матросик, привыкший еще в пастухах к общению с природой,

дой, весь отдался ее созерцанию. Проникнутый чувством восторженного умиления и в то же время подавленный ее величием, он не находил слов. И что-то хорошее, и что-то жуткое наполняло его потрясенную душу. Несколько минут длилось молчание.

Примостившись в своем гнезде, Егоркин поглядывал на горизонт и думал о том, как хорошо было бы вздремнуть. И он уж начал было клевать носом, но, вспомнив о Злющем, встрепенулся и взглянул на товарища: не дремлет ли и он?

Восторженное выражение бледного, казавшегося еще бледней при лунном свете лица молодого матросика изумило Егоркина.

«Совсем чудной!» – подумал он и сказал:

– А хорошо здесь сидеть, братец ты мой! Точно в люльке, качает и ветерком обдает. Так и клонит ко сну... А ты остерегайся, Щупленький!.. Он, дьявол, как кошка, незаметно подкрадет... Неделю тому назад Артемьева накрыл и мало того, что зубы начистил, а еще наутро приказал всыпать двадцать пять линьков... Помнишь?..

Но, казалось, в эту минуту Щупленький

был где-то далеко-далеко от действительности. Он забыл и о нелюбимой службе, и о Злющем, и о линьках, которых боялся со страхом тщедушного человека перед физической болью, полный трепета перед позором наказания. Человеческое достоинство, счастливо сохранившееся в нем в те отдаленные времена крепостного права, когда оно попиралось, чувствовало этот позор и в то же время беззащитность против него.

И, словно отвечая на мысли, волнующие его, он раздумчиво, протянул, как бы говоря сам с собой:

– И нет конца миру... И сколько одних океанов... Пойми все это!..

– Много ли, мало ли, тебе-то что! Не матросского понятия это дело.

– Не матросского, а глядишь кругом – и думается.

– А ты не думай. Брось лучше. На то старший штурман есть, чтобы обмозговывать эти дела. Их обучают по этой части.

– И всякий человек может думать... Душа просит... Ты возьми, примерно, звезды, – продолжал возбужденным тоном Щупленький,

поднимая глаза к небу. – Отсюда они крохотные, а на самом-то деле – страсть какие великие... Мичман даве обсказывал. И далече-далече от нас, оттого и махонькими оказываются себе... И сколько их и не счесть! А вот, поди ж ты, висят на небе... друг около дружки цепляются... Удивление! Или взять месяц. По какой такой причине ходит себе по небу и льет свет? И из чего он? И что на ем? Поди-ка До-знайся! А мы вот плывем здесь и вроде будто пескарики перед всем этим божьим устроением...

И матросик повел рукой на океан.

Егоркину не было ни малейшего дела до этих деликатных вопросов. Вся его предыдущая жизнь матроса не располагала к ним. Думы его имели главнейшим образом строго практический характер лихого фор-марсового, который делал свое трудное и опасливое дело частью по привычке, частью из желания избежать наказаний, от которых физически больно, и добродушного пьяницы, напивавшегося вдребезги, как только урывался на берег, но не пропивавшего, однако, казенных вещей, так как за это наказывали беспощад-

но.

Немножко фаталист, как и все подневольные люди, он жил, как «бог даст». Даст бог доброго командира и доброго старшего офицера – и ничего себе жить, а даст бог недоброго – надо терпеть. А чтобы легче было терпеть и чтобы хоть на время забывать действительную жизнь, подчас каторжную, Егоркин напивался и тогда воображал себя свободным человеком.

Начал он запивать на берегу при строгом командире, но продолжал и при добром и мало-помалу привык при съездах на берег напиваться, как он говорил, «вовсю», чтобы не помнить себя. И уже тогда он не разбирал эпитетов, которыми награждал «злющих» офицеров, пьянствуя в каком-нибудь кабаке с товарищами.

Речи Щупленького показались Егоркину настолько странными, что он счел своим долгом высказаться. И с решительностью человека, не теряющегося ни при каких обстоятельствах, он уверенно проговорил:

– Бог все произвел как следует: и землю, и море, и небо, и звезды, и всякую тварь. Всему,

братец ты мой, определил место – и шабаш! И людей обозначил: коим примерно в господах быть, коим в простом звании. Вот оно как! И ты зря не думай. Знай себе посматривай вперед!

Молодой матросик, едва ли удовлетворенный объяснением Егоркина, не продолжал разговора.

Так прошло несколько времени в молчании.

– И чудной ты! – проговорил вдруг Егоркин.

– Чем чудной?

– А всем! И прост сердцем, и понятие хочешь иметь обо всем. И на гармони играешь так, что душу в тоску вгоняешь... так за сердце и берешь... Ты раньше чем занимался? Землей?

– Я сирота. В пастухах все жил.

– А где же ты грамоте научился?

– Самоучкой.

– Ишь ведь!.. И всегда такой слабосильный был?

– Всегда.

– Так как же тебя забрили в матросы?

– И вовсе не хотели брать.

– То-то я и говорю, не подходишь ты по комплекции. По какой же причине взяли?

– Барин наш очень просил полковника, что некрутов принимал. «Возьмите, – говорит, – он мне не нужный!»

– Ишь ведь, собаки! – негодуяще сказал Егоркин.

– Нет, Левонтий, барин был добер. Мужиков не утеснял! – заступился Щупленький.

– Хорош добер. Такого слабосильного, и на службу... Прямо, значит, доконать человека!.. А у тебя всякий человек добер... Всякому оправдание подберешь... Прост ты очень... Тебя вот не пожалели, а ты всякого жалеешь... Вовсе ты чудной! Небось, по-твоему, и Злющий наш добер?

– Вовсе не добер, но только не от природы, а от непонятия, – вот как я полагаю... И вразуми его бог понятием, он матросиков зря не утеснял бы... Выходит, и его пожалеть можно, что без понятия человек...

– Ну, я такого дьявола не пожалею... Сделай ваше одолжение!.. Из-за его понапрасну меня два раза драли. Да и других сколько...

Попадись-ка он когда мне один в лесу...

– И ничего ты ему не сделал бы! – убежденно произнес Щупленький.

– Морду его каркодилью свернул бы на сторону, это не будь я Леонтий Егоркин! – с увлечением воскликнул матрос и даже оскалил свои крепкие белые зубы. – Попробовал бы сам, как вкусно, тогда и остерегался бы... вошел бы в понятие... Мы, братец ты мой, боцманов учивали, кои безо всякого рассудка дрались, вводили их в понятие... Отлущуем на берегу по всей форме, – смотришь, и человеком стал... Не мордобойничает зря... Опаску имеет. А всякому человеку опаска нужна, потому, дай ему волю над людьми, живо совесть забудет. Ты вот только очень устыдливый... И знаешь, что я тебе скажу? – неожиданно задал вопрос Егоркин.

– А что?

– Тебе бы в вестовые. Совсем легкое дело, не то что матросское... И главная причина – ни порки, ни бою, ежели к хорошему человеку попадешь.

– Не попасть.

– То-то можно.

– А как? У всех господ вестовые есть!

– Мичман Веригин хочет уволнить своего лодыря Прошку.

– За что?

– Что-то нехорошее сделал. Только мичман не хочет срамить Прошку. Вот тебе бы, Щупленький, к мичману в вестовые. Он хороший и прост. Не гнушается нашим братом, не то что другие.

– Несподручно как-то самому проситься, а я бы рад.

– А я доложу мичману... Так, мол, и так, ваше благородие. Он башковатый: поймет, что такого, как ты, вестового ему не найти... Сказать, что ли?

– Скажи.

– Завтра же скажу. Тебе вовсе лучше будет в вестовых.

– То-то лучше? – подтвердил и Щупленький.

В эту минуту раздался голос вахтенного начальника:

– Вперед смотреть!

– Есть! Смотрим! – отвечали оба часовые почти одновременно...

И примолкли.

А чары сна незаметно подкрадывались к Обоим.

Чтобы самому не поддаваться им и не дать дреме овладеть и Щупленьким, Егоркин стал рассказывать сказку.

Молодой матрос слушал сказку внимательно, не спуская глаз с горизонта, но скоро глаза его начали словно бы застилаться туманом, и веки невольно закрывались. В его ушах раздавался сильный голос Егоркина, но слова пропадали...

Убаюканный сказкой, матросик задремал.

Вполне уверенный, что Щупленький слушает сказку, Егоркин продолжал описывать большущего крылатого змия, который загородил Бове-королевичу дорогу ко дворцу королевы Роксаны, как вдруг увидел влево от себя зеленый огонек встречного судна. Огонек быстро приближался.

– Кричим! – тихо сказал он товарищу, толкая его в бок.

И с этими словами крикнул, повернув голову по направлению к мостику:

– Зеленый огонь влево!

Крикнул и снова толкнул товарища.

Молодой матрос повторил этот окрик несколькими секундами позже. И голос его дрогнул. И сам он, очнувшийся от дремы, глядел в ужасе на зеленый огонек.

– Задремал! – упавшим голосом сказал он.

Егоркин сердито молчал...

Боцман уже подбежал к часовым.

Он ударил раза два по шее молодого матроса и проговорил, обращаясь к Егоркину:

– И ты хорош! Дал ему дрыхнуть. Теперь будет разделка! Черти! Одни только неприятности из-за вас.

– Злющий, может, и не заметил! – сказал Егоркин, видимо желая успокоить молодого матроса, бледное лицо которого, полное отчаяния, словно бы говорило ему, что он отчасти виноват. Что бы ему догадаться, что Щупленький заснул...

– Не заметил? – усмехнулся боцман... – А вот он и сам бежит сюда! – понизив голос, проговорил боцман...

Действительно, высокий и худощавый лейтенант с рыжими бачками и усами тороп-

ливо неся на бак.

Боцман отошел от часовых. Те повернули головы к океану.

Егоркин снова взглянул на Щупленького.

Тот сидел ни жив ни мертв. И только губы его вздрагивали.

Великая жалость охватила сердце Егоркина при виде этого тщедушного, мертвенно-бледного молодого матросика, который и прост, и добер, и так хватает за душу, когда играет на гармонике.

И он чуть слышно сказал ему резким повелительным тоном:

– Злющий запросит – ты молчи!.. А не то и кровяню. Понял? – угрожающе прибавил он.

Ничего не понявший и изумленный этим угрожающим тоном матросик испуганно ответил:

– Понял...

В эту минуту сзади над головами часовых раздались ругательства, и вслед за тем лейтенант спросил своим слегка гнусавым высоким голосом:

– Кто из вас двух, подлецов, позже крик-

нул?

– Я, ваше благородие! – отвечал, поворачивая голову, Егоркин.

Щупленький только ахнул.

– Ты, пьяница? Ты, старая каналья, спал на часах?

– Точно так. Задремал, ваше благородие.

– Эй, боцман! Дать ему завтра пятьдесят линьков, чтобы он вперед не дремал!..

И лейтенант торопливо ушел с бака и поднялся на мостик.

– Левонтий!.. Это как же... За что? – дрогнувшим голосом начал было Щупленький.

Взволнованный и умиленный, он продолжать не мог, чувствуя, что слезы подступают к горлу...

– Сказано: молчи да гляди вперед! – ласково ответил Егоркин.

И после паузы прибавил:

– Мне пятьдесят линьков наплевать. Я и по двести принимал. А ты?.. Ты ведь у нас Щупленький... Тебя пожалеть надо!.. А должно, пароход идет!.. – круто оборвал он речь.

Действительно, скоро в полусвете лунной ночи вырисовался силуэт большого океанско-

го парохода с тремя мачтами.

Через четверть часа он уже попыхивал дымком из своей горластой трубы, приближаясь навстречу, окруженный серебристым поясом сверкнувшей воды.

Оба часовые глядели на проходивший пароход молчаливые.

Щупленький утирал слезы. Лицо Егоркина, обыкновенно суровое, светилось какою-то проникновенной задумчивостью.

А месяц и звезды, казалось, еще ласковее смотрели с высоты бархатистого темного купола.

И старик океан, казалось, еще нежнее рокотал в эту чудную тропическую ночь, бывшую свидетельницей великой любви матросского сердца.

Notes

[^^^]